

*От автора
бестселлера «Из стени
шагала верб. 1900»*

ФЛОРЕНЦИЙ
*и прокляженный
огонь*

ЙАНА БОРИЗ

Йана Бориз

ФЛОРЕНЦИЙ
*и прокляженный
огонь*



Все складывалось наиудачнейшим образом: старая ключница Онуфриевна получила известие о болезни свата и отбыла в соседнюю Малаховку. По бумагам она вместе с детьми давно числилась вольноотпущенной (еще покойная матушка пожаловала отпускной грамотой), но, вдовая, никуда не подалась из замшелого поместья Обуховских. Упрямая. Сын ее прилепился к ямским, вроде зажирил. Дочка Ефимия вышла за местного — получалось, самолично вернулась в крепость. Последний десяток лет Онуфриевна в одиночку пасла ветхую усадьбу на берегу Монастырки и вот сегодня — кстати! — убралась к сватову одру.

На пустом дворе разлегся тихий майский вечер. Ярослав Димитриевич, один-одинешенек в своих покоях, распоясался, скинул потертый кафтан, запалил две свечи, хоть настоящая темнота еще не добралась до окон. Перво-наперво он сдернул с кровати льняной полог, кинул посередь опочивальни, принялся валить поверх платье: чулки, жилеты, исподнее, галстуки, булавки, платки. Кучка набралась невеликая — с годовалую ярочку. Молодой барин попробовал обхватить полог узлом и приподнять. Вышло без натуги. В глубине дома



прочирикали напольные часы. Они подпирали балку в гостиной зале — могучие, как медведь, а голос воробьиный.

Из сада потянуло речной прохладцей, завело известную песню комарье. Ярослав Дмитриевич прошел в кабинет, не глядя опорожнил ящик рабочего стола, что черным островом расселся аж на трети невеликого помещеньца. Убранство здесь не меняли с дедовских времен: небогатое, без изящества устроенное хозяйство староукладного помещика. После стола подоспела очередь книжек, но их скопилось немного, не более двух дюжин. Вся бумажная докука улеглась в три корзины для белья. Они отыскались пустовавшими на заднем дворе.

На кухне в шкафчике стояла початая бутылка с ламповым маслом, барин зачем-то прихватил и ее. Проходя через вестибюль, он шумнул забытым жестяным подносом, из-под пufика высунулась ленивая седая кошка, ослепшая, но упитанная. К ее спине прилипли пыльные катышки, серые, как давно не мытые чехлы, как ее невидящие глаза, как все вокруг.

Этот дом одряхлел, облупился. Он проспал более десятка лет без хозяев с их хлебосольными застольями, одичал, иссохся от скуки. В нем не шушукались праздные безделушки, не пахло куличами или копченостями. Заросший по макушку черносливом, усталый, он горбился отставным бессловесным солдатом, кого никто не любил и не ждал в уютной постели. И сам Ярослав Дмитриевич походил на такого же, даром что молодой.

В опочивальне еще оставался комод с простынями, вышиванками, прочей тряпичной рухлядью; заниматься ею не хотелось, но победило радение о ближних, прежде всего о преданной Онуфриевне. Барин запихнул тряпье в скатерку, увязал. Он изрядно притомился, не столь от рутинного занятия, сколь от многодумных ночей. Из-за бессонницы под глазами набрякли мешки, уголки губ повисли скорбным базлыком, щеки опали. Ни единой морщинки, а старик. Волосы серые, что волчья шерсть, стороннему не понять — может, и седые уже. Прежде он тянулся вверх, расправлял плечи, отвоевывая недодаденное природой, теперь же, наоборот, сутулился, будто нырял в незаметность.

В доме уже окончательно распорядилась темень, дергала за шнуры тяжелых суконных портьер, закрашивала навощенные половицы, ловила прожорливых мышей. Пришлось зажечь свечи в гостиной. В их мерцании ночные стекла превратились в богатые зеркала, убогость убралась в углы, оттого стало поавантажней. Здешняя мебель так и стояла под чехлами, Арина Онуфриевна жаловалась на изъеденную обивку, дескать, зазорно такую выводить в люди. По приезде барин намеревался справить новую, да теперь уже все одно... Отсюда он взял пузатый ларчик в серебряном окладе, кинул его поверх одежной кучки, увязал кривобоким баулом. Еще с полчаса сутулая фигура с подсвечником бродила по необжитым темным комнатам, собирала докуку, укладывала в узлы. За два месяца набралось немного скарба,



вроде и не жил он здесь, а гостевал, как на постоялом дворе. Наконец пришло время погружаться. Ярослав Димитриевич взвалил на плечо первую корзину — самую тяжелую, — потащил в дальний конец усадьбы к пруду. Там болтались на привязи три-четыре лодки; десяток хороших гребков до запруды — и он окажется на реке. Ходить туда-сюда пришлось раз шесть, навалились одышка и немощь в коленях. По спине побежал липкий пот, да все время норовила сбежать шапка. После третьего похода он догадался: сдернул ее и швырнул на дощатое лодочное дно — пушай мокнет там, а не на темени. Вся поклажа тоже валялась как попало, непритороченная. Последним из дома выбрался батюшкин тулуп — вещь, не ведавшая сноса. В фамильном гнезде более не осталось следов молодого несчастного барина Ярослава Димитриевича Обуховского.

В темном пруду полоскали распущенные власа старые ивы, обмылком плавала луна, вздрагивали во сне кувшинки. Обуховка — сельцо невеликое и тощее. Здешний батюшка Пансофий, кажись, уже выжил из ума, по крайней мере, богобоязненные бабки зачастили в соседний приход. Питейное заведение туточки тоже не прижилось. Хилые наделы обихаживались без тщания, без азарта, потому жадные леса настойчиво их подгрызали. Даже голоногие мальчишки водили коней в ночное за ближний рукав беспокойной Монастырки. Все стремились ушмыгнуть отсюда, утечь вместе с водой. Ну что же, знамо, так велит Господь, то Его Всеведущая воля.

Померкший дом в последний раз отомкнул свои двери хозяину, зато надолго. На этот раз Ярослав Димитриевич не спешил: прошел в кабинет, уселся за стол, вынул загодя оставленную под сукном стопочку чистых листов, пододвинул чернильницу, взял новое, изящно очиненное перо. Он писал долго и усердно, уже просигналили первые петухи, а согбенные плечи все не расправлялись. В горле засохла пыль — хоть скребком скреби! — в животе разворачивал злые кольца голодный змей, однако молодой барин не двигался, только скрипел пером. Он поднялся, когда в дальнем конце улицы забрехал пес. Ежели кто бродил в окрестностях, это не к добру. Наскоро перечитав сочинение, Ярослав Димитриевич приписал внизу еще несколько строчек и разложил листы на столе, не утруждаясь запечатыванием. Потом рука потянулась к чернильнице, зависла в раздумье и все-таки схватила, небрежно и не заботясь ее расплесканными потрохами. Он задул свечу, прошел в опочивальню, также роня повсюду густые черные капли, перекинул через плечо фрак, проверил, не осталось ли где непотушенного огня, и вышел вон. Дверь украсилась старинным медным замком, ставни остались открытыми, из них наружу сочлились тоска и безжизненная хмарь.

Лодка добросовестно дожидалась у причала, доверху нагруженная хламом, суетой — его неудавшейся жизнью. Опустевшая по дороге чернильница шлепнулась на белевший узел кроватного полога, измарала его на последнем издыхании. Весла тихо, без плеска опустились в воду верными



сомышленниками. Три гребка — и ивы с так не домытыми власами уже растворились в прибрежном мраке. Еще пять — подступила запруда, два напоследок — и открылся речной ворот. Барский пруд с умирающим садом остался позади, лодку подхватило течение, сильно и уверенно повлекло вниз. Ярослав Димитриевич наклонился, зачерпнул воды, выпил из горсти. Горло благодарно откликнулось покалыванием. Он попил еще и еще. Вдалеке, за излучиной, горел костер, но с берега беглеца не могли углядеть. Да и кто бы захотел? Вот теперь позволительно распрямить затекшие плечи, опустить весла, опереться на мягкие узлы. Мимо шествовали тени на воде, лодка, хоть и дряхлая, уверенно плыла навстречу утренним сумеркам.

Этой же майской ночью в десяти верстах от села Обуховского, на захудалом постоялом дворе, мирно посапывал усталый путник. Он не чувствовал подсыревших простыней, съеденная вечерей черствая краюха не тревожила утробу. Сонные губы его складывались в улыбку, сильные руки крепко обнимали подушку, рьяному комариному зуду не удавалось пробраться через крепкую защиту грез, и только длинные ресницы подрагивали в ответ на ласковые прикосновения лунного света. Спать оставалось недолго: постоялец велел вислоусому станционному смотрителю разбудить его до зари. Нынче заступил на службу последний день долгой дороги домой. Уже более месяца грудь теснила радость от скорой встречи с

любимыми людьми и родными местами, и вот уже завтра, вернее сегодня, он будет пить самую сладкую воду из старого колодца во дворе, обнимать свою ненаглядную Зинаиду Евграфовну, разбирать набитые чужеземьем сундуки и раскладывать ношеное платье в своей собственной гардеробной.

Спать оставалось не более двух часов, и он отдавался этому занятию со всей страстью здорового двадцатипятилетнего вьюноша. Лошади тоже дремали перед яслями, подрагивали ушами и перебирали копытами. Наверное, им снились лихие скачки. Речка не спала — маялась бессонницей под обрывом, шепталась с валунами и будила воркованием рыб.

Самый сладкий сон, как известно, перед рассветом, и именно в него врезался зычный голос зрителя:

— Барин, давеча побудить велели. Пора.

Постоялец открыл глаза, недовольно съежился под жидким одеяльцем, но тут же сбросил его, улыбнулся, выпрыгнул на простывший пол, распахнул руки, словно собирался обнять наступающий день.

— Благодарствую! — крикнул он через дверь и тут же понизил голос, опасаясь досадить соседям. — Велите подать чаю. Сей миг выйду.

Он и в самом деле показался в двери буквально через минуту. Во дворе уже хлопотал разбуженный ящик, кони шумно хлебали свежую воду, на большом столе пыхтел самовар, рядом стояла глиняная миска с теми же черствыми сухарями, что и вчера, — небогато же потчуют в родных



местах проезжий люд! Вислоусый заметил вытянувшуюся физиономию ранней пташки и без особой охоты спросил:

— Прикажете подать кушанья?

— Не трудитесь, любезный. — Гость махнул рукой. Лучше отказаться от здешнего завтрака — дома все равно окажется вкуснее.

Он рассчитался с избыточной щедростью, вскочил в поданный экипаж и аж задрожал от нетерпения. Эх, кабы верхом! Жаль, не предупредил Зинаиду Евграфовну послать ему навстречу какого-нибудь подлетка одвуконь: хотел сделать сюрприз. Сейчас бы уже мчался, рассекая грудью утреннюю прохладу.

Путника звали Флоренцием Аникеичем Листратовым, он возвращался домой после семи лет в школе известного итальянского маэстро Джованни дель Къеза ди Бальзонаро, где постигал мудреную науку ваяния. Село Полынное — родина Флоренция — лежало в осьмнадцати верстах от уездного Трубежа, шестидесяти верстах от Брянска и совсем далеко от губернского Орла — не меньше двух сотен верст.

Лошади по теплу шли прытко, дорога не пылила, не барагозила, заболоченных мест не попадалось. Ямщик оказался немногословным, пегим и жидкобородым. Глаз его разглядеть не удалось из-за низко надвинутого картуза, что держался, казалось, непосредственно на шишковатом носу. Он буркнул имя — то ли Протас, то ли Афанас — не разобрать. Небось тоже не выпался и теперь злится на седока-торопыгу. Флоренций

кивал из окна знакомым селяньям, одиноким мельницам. Людей встречалось мало, а знакомых и вовсе никого.

В нарядных фряжских городах, с их мраморами, уносящимися в небо соборами и звенящей брусчаткой, он напрочь отвык от неисчислимых буераков милого сердцу края. Кто бы ни странствовал по Руси, всенепременно поносит расхлябанные дороги, усыпанные ямами да кочками, залитые по пояс стоячей болотной жижей, в которой и утонуть немудрено. А того не понимают, что пространства тутошние огромные, не чета прочим, и на каждую кочку не напасешься ни досок, ни камней, ни усердных рук. От одной деревеньки до другой версты и версты, между тем как у пруссаков с австрияками селения друг на друге сидят и в окна соседям заглядывают. В просторах, не меренных чужим оком да чужими милями, и спрятана русская душа — широкая, раздольная, загадочная. Починить дороги недолго, а вот куда деть привычный к бездорожью русский дух?

В долгом пути французское платье путника поистрепалось. Оно состояло из простого темного фрака, полотняной сорочки и пары цветных жилетов — лазоревого шелкового и лимонного из новомодной фланели. Лазоревый был хорош переливчатым сиянием, а лимонный освежал лицо и сразу бросался в глаза. Еще у Флоренция имелись кирпичного цвета кюлоты и плохо вычищенные, выдавшие виды сапоги. Достойный цилиндр хранился в специальной коробке и ожидал аудиенции, а его хозяин предпочитал объемный черный берет



с белой камеей вместо броши. Из-под него спускались на плечи золотые локоны — главное украшение Листратова: они углубляли карие глаза. Берет свой по образцу великих художников он заказал у модного флорентийского шляпника. Очень хотелось думать, что подобное смешное подражание поможет носителю головного убора с талантом и вдохновением. Фасон наружности молодого ваятеля получился мечтательным, слегка отстраненным от суетного мира, но притом не без некоторого шика. Он сбил сердечный ритм многих фряжских красавиц и привлек задумчивый взгляд не одного живописца, каковыми буквально кишела великолепная Тоскана. А какое впечатление произведет сей облик в России, предстояло еще выяснить.

Флоренций не баловал себя в пути длительными остановками и любованиями. Поначалу, пока за окном почтовой кареты мелькали чистенькие австро-угорские будни, ему превосходно скучалось, а когда началась русская земля, внутри что-то заиграло, запели бубенцы, раззадорилось нетерпение.

Версты, как назло, ползли неторопливо, грязные почтовые станции сменяли одна другую, лились незамысловатые беседы с попутчиками, кои несказанно радовали окунанием в переливчатый мир русских слов. Он надкусывал спелые глаголы, бросался пряными сравнениями, смаковал старинные названия и ласкал их точными прозвищами, каковых вовсе нет в иностранных языках. Прекрасна и певуча русская речь, метка, сочна. Раскатывается бессовестным «р», бьет в самое

сердце решительным «х», искренним аканьем или оканьем. Русское слово подается к столу как брызжащая соком луковица к бочковой селедке, как хрен к холодцу, как ледяная водочка после жаркой бани. Хорошо наконец-то вдоволь наговориться по-русски, не спеша, пусть о неважном. Сказанное на родном языке, оно напитывается вдруг огромной значимостью.

Будучи уроженцем прошлого, осьмнадцатого века, Флоренций горячо приветствовал все новое и замечательное, чем дразнил нынешний девятнадцатый. Он боготворил Наполеона — сотрясателя тронов — и мечтал когда-нибудь изваять из первосортного мрамора его бюст, а лучше ростовой памятник. Но это дальний план, ныне же, в году одна тысяча восемьсот десятом от Рождества Христова, в свете осложнений политического свойства между Российской и Французской империями следовало помалкивать о своих пристрастиях.

Тем паче вот они наконец-то, любимые с младенчества места! Соскучился! Ох как соскучился! Какими только красками не сияла матушка-Русь! Тут и лазурь поднебесная, и золото пшеничное, и блеск куполов, и янтарное дерево, и зеленые холмы — вся палитра как на ладони, один раз увидеть — и глаз уже не отвести! Особенно если те глаза принадлежат ваятелю, художнику, кому по призванию положено запечатлевать мирскую красоту и дарить ее тем, кто ничего не видит дальше своих пяток. Вот это и есть настоящее искусство, что манит бессмертной славой, а на деле приносит больше страданий, чем ликований.



Снаружи почтовой кареты потихоньку просыпались хутора и пустоши. Отцветающая весна заполонила подворья черемухой, из-за ее душистых облаков осторожно выглядывали расписные ставенки — любо-дорого посмотреть. Все! Долгое странствие почти целиком позади. Вчерашний, предпоследний день пути весело прошмыгнул берегом могучей Десны. До Трубежа оставалось семь верст, там дорога уцепится за скорую руку Монастырки и поползет вверх. Речка на самом деле называлась Неруссой, то есть «нерусской», потому коренной люд ее так не величал, а именовал Монастыркой в честь обосновавшейся на ее берегу Казанской Богородицкой Площанской пустыни. Вот на этой речке, упрямо катившей к Десне свои холодные волны, и стояло именье Полынное, где Флоренция поджидали объятия дражайшей опекунши Зинаиды Евграфовны, собственная комната с льняными занавесками и любимая мастерская, куда однажды постучалась муза. Путник привычно скосил глаза на привязанный к запяткам сундук. Скорей бы распаковать и нырнуть в тихий утренний сад, заняться неспешными этюдами.

Две версты пролетели незаметно. Ямщик сутулился на передке, не поворачивал головы, только сальные волосы тряслись в такт дребезжанию колес. Коварная Десна не любила прямотока, все норовила петлять да намывать заводи. Вот из-за очередной излучины выплыл большой мельничный остров с переправой, за ним растеклось ширью мелководе. Экипаж поравнялся

с полем серебристой ряби аккурат в тот миг, как из-за царственной верхушки дальнего осокоря выглянуло солнце. Розовые лучи смешали серые краски утра, брызнули желтеньким в густую прибрежную темень, вытащили оттуда бледный оскал песчаной косы с клыками валунов. По воде побежали золотистые мурашки, утопили жемчужные слезы ночи в расплавленной радости нового дня. Нежно улыбнулись посветлевшие, проснувшиеся березки. Заволновались. Мокрые травы разогнулись, стряхнули тяжелые капли росы, добавили пряных ароматов в дорожный букет. Лошадиные гривы тоже окрасились в благородную медь, даже пегие прядки под картузом ямщика вроде порыжели и уже не так слипались от неблюдения. Флоренций затаил дыхание — какая же все-таки красота жила за околицей! Ни в каких чужеземьях такой не встречалось!

Упряжка уверенно преодолела еще с полверсты, мелководе закончилось узкой горловиной. Оттуда выливался бурливый поток, за которым пристально следила поросшая ельником скала. Вот и она осталась позади. Впереди излучина с крохотным островком. Паводком его затапливало, поэтому не приживались серьезные деревья, только терпеливый камыш. Островок высунул зеленую рыбу спину и ждал подступавшего солнышка. Разноцветные лучи пестрили, порхали от зеркальной воды к поблескивающим влажным листьям, и оттого не удавалось разглядеть, был кто-то на клочке суши или почудилось. Человек, зверь или сказочное представление разворачивалось посреди

